

Алина Веснина



КОНТРАКТ на жену

Алина Веснина

Контракт на жену

«Автор»

2026

Веснина А.

Контракт на жену / А. Веснина — «Автор», 2026

Кондитеру Соне Лавровой срочно нужны деньги: младшей сестре после аварии нужна дорогая операция, а кабальный долг растёт с каждым днём. И когда ледяной СЕО холдинга Максим Громов предлагает ей фиктивный брак на год — контракт на двенадцать пунктов, и двенадцатый гласит «никаких чувств», — Соня подписывает. От отчаяния, не от сердца. У них всё расписано: срок, гонорар, развод без претензий, переезд под одну крышу ради достоверности. Не предусмотрено лишь одно — что девушка с мукой на рукаве начнёт растапливать человека, которого весь город считает машиной. А за бронёй миллиардера прячется мальчик, однажды поверивший в любовь и жестоко обжёгшийся. Но у их сделки есть свидетель, который не верит в браки по расчёту. И когда выгодное столкнётся с настоящим, Соне придётся выбрать: уйти богатой — или остаться и доказать, что есть вещи, которые не продаются. Брак по контракту, властный босс и от ненависти до любви — в романе Алины Весниной, открывающем серию «Громы».

© Веснина А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Сахар и сталь	5
Глава 2. Двенадцать пунктов	10
Глава 3. Под одной крышей	16
Глава 4. Соколиное	21
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Алина Веснина

Контракт на жену

Глава 1. Сахар и сталь

К десяти утра я задолжала трём людям, одному банку и собственной совести — и всё равно взбивала крем так, будто от этого зависела чья-то жизнь.

Хотя, если честно, именно от этого она и зависела. Не моя — Никина.

Торт стоял на рабочем столе моей крохотной студии «Сахарная пудра» как маленький белый собор: три яруса, обтянутые тонким, почти прозрачным кремом, по которому я всё утро вела кистью золотую вязь. Заказ был на юбилей холдинга «Громов Групп» — двадцать пять лет, четыреста гостей, верхний этаж стеклянной башни в Сити. Мне за него платили столько, что я могла закрыть проценты за два месяца вперёд. Если доведу. Если не уроню. Если меня вообще пустят в их сияющий аквариум с моим фургончиком, у которого правая дверь открывается только если по ней ласково ударить коленом.

— Соня, он не упадёт? — Ника подъехала к столу на своём кресле, вытянула шею. Двенадцать лет, косичка набок, глаза матери. Два года назад в эти глаза смотрел врач и говорил слова, которые я до сих пор повторяю по ночам как таблицу умножения. — Если упадёт, ты заплачешь?

— Я никогда не плачу над тортами, — соврала я. — Я плачу только над счетами. Торты — это святое.

— А счета?

— А счета — это математика. Над математикой плакать глупо, её надо решать.

Я решала её уже два года. С тех пор как машина на пешеходном переходе решила, что у Ники нет права идти по своему зелёному, а у меня нет права на спокойный сон. Операция, которая могла поставить сестру на ноги, делалась в одной клинике под Мюнхеном и стоила как квартира. Моей квартиры как раз хватало — в залог. И студии. И ещё немного моей гордости, которую я заложила людям, чьи визитки лучше не показывать приличным знакомым.

Телефон зажужжал на столе, подполз к миске с кремом. «Банк». Я смотрела на экран, пока он не устал и не сдался. Перезвонят. Они всегда перезванивают. У них работа такая — звонить и напоминать человеку, что он должен. Как будто человек способен об этом забыть.

— Грузимся, — сказала я Нике. — Тётя Валя придёт через пять минут, посидит с тобой. Я отвезу собор, получу деньги, и мы закажем ту дурацкую пиццу с ананасами, которую ты любишь вопреки здравому смыслу и моей репутации кондитера.

— Ананасы на пицце — это смело, — серьёзно сказала Ника. — Как ты в людях.

— В людях, — поправила я машинально и поцеловала её в макушку. От неё пахло яблочным шампунем и немного — больницей, этот запах не выветривается, сколько ни мой. — Я не смелая. Я просто упрямая. Это разные вещи, запомни.

Тётя Валя пришла, как обещала, пахнувшая корицей и чужими сериалами, и сразу увела Нику смотреть, как «эти двое наконец объяснятся в сто пятидесятой серии». Я загрузила собор в фургон, подоткнула его полотенцами, будто ребёнка в мороз, и поехала через весь город — туда, где деньги растут вверх, в стекло, а не вниз, в проценты. Всю дорогу я репетировала улыбку. Улыбка — мой главный рабочий инструмент, важнее венчика и термометра для карамели. Когда за спиной у тебя долг размером с чужую жизнь, ты учишься улыбаться так, чтобы никто не догадался, сколько эта улыбка весит.

Башня «Громов-Тауэр» встретила меня так, как стекло вообще встречает людей вроде меня: холодно и с лёгким недоумением. Сорок этажей сапфирового стекла, в которых отражалось серое московское небо и моё лицо — встрепанное, в муке, с тортом на вытянутых руках. Охранник на ресепшене оглядел меня снизу вверх, потом сверху вниз, будто искал, где у меня выключается звук.

— Доставка — со служебного, — сказал он.

— Я не доставка. Я автор, — сказала я и тут же поняла, как это прозвучало. — В смысле — я везу торт на юбилей. Лаврова, «Сахарная пудра», нас вносили в списки.

Он искал меня в планшете так долго, что крем начал подтаивать у меня под пальцами, а гордость — где-то под рёбрами. Наконец кивнул на грузовой лифт в дальнем конце, и я поехала наверх в металлической коробке, считая этажи и пытаясь не думать о том, что весь этот стеклянный храм построен на деньгах, рядом с которыми мой долг — крошка с того самого торта.

Банкетный зал на сороковом был сделан так, чтобы человек в нём чувствовал себя гостем у собственной мелкости. Потолки в два этажа, панорама на полгорода, официанты в одинаковых серых жилетах двигались бесшумно, как рыбы. Я выкатила тележку с тортом к центральному столу, выдохнула — довезла, не уронила, мир ещё держится, — и в эту секунду мимо пронёсся официант с башней бокалов, кто-то его толкнул, бокалы качнулись, он шарахнулся в сторону — прямо на мою тележку.

Я успела. Не знаю как — поймала верхний ярус ладонями, прижала к себе, золотая вязь смазалась о мой фартук, но собор устоял. Зато поднос с шампанским ушёл в свободный полёт и приземлился ровно туда, где этого совсем не ждали: на светлые брюки немолодой пары у окна. Женщина ахнула. Мужчина застыл с лицом человека, которого окатили не шампанским, а личным оскорблением.

И тут стало тихо. Той особой тишиной, которая бывает, когда в зале есть кто-то, на кого все привыкли оглядываться.

Он шёл от лифтов — высокий, в тёмно-сером костюме, под цвет этих стен, будто его специально сюда вписали дизайнеры. Лицо красивое и закрытое, как дверь сейфа. Я не знала тогда, что это Максим Громов, генеральный директор всего этого стекла. Я знала только, что от него по залу шёл холод — не злой, просто холод, как от витрины с мороженым, мимо которой идёшь в июле и зачем-то ёжишься.

— Что здесь происходит, — сказал он. Без вопросительного знака. Вопросы задают те, кто не уверен, что им ответят.

Облитый мужчина начал говорить, женщина — промокать брюки салфеткой, официант побелел и, кажется, мысленно уже паковал вещи. А я смотрела на эту пару у окна и понимала одну простую вещь, которую в наших краях называют чутьём, а на самом деле это просто опыт: они не злятся из-за брюк. Они злятся, потому что им неловко. Потому что четыреста человек смотрят, как два пожилых уважаемых гостя стоят мокрые и нелепые, и сейчас кто-то должен сделать так, чтобы они снова стали главными в этой комнате, а не смешными.

Я поставила собор на стол. Сняла фартук — тот самый, в золотых разводах. И пошла к окну.

— Это я виновата, — сказала я громко и весело, перекрывая шёпот зала. — Выкатила тележку поперёк фарватера, как баржа. У меня дома сестра говорит, что я везде вношу хаос с улыбкой. Можно ваш пиджак? Сейчас всё спасём.

Женщина растерянно посмотрела на меня. Я уже накинула ей на колени свой фартук — золотой стороной наружу.

— Вот, — сказала я. — Теперь вы не в шампанском. Теперь вы в дизайнерском. Это ручная роспись, между прочим, я её три часа вела. Носите на здоровье, вам идёт золото.

Кто-то рядом фыркнул. Женщина — против воли — улыбнулась. Мужчина крикнул, и каменное его лицо дало трещину.

— Дерзкая, — сказал он. Но уже без льда. — А торт ваш?

— Мой. Хотите, расскажу, что внутри? Там не просто бисквит. Там грецкий орех, который я жгла на сухой сковородке, пока соседи не вызвали пожарных, и солёная карамель, которую варят, как нервы, — до последнего, на грани. Вот прямо как сегодня.

Женщина засмеялась уже в голос. Зал выдохнул и зашевелился, тишина расклеилась, официанты ожили, и катастрофа превратилась в забавный эпизод, который эти двое будут рассказывать знакомым: «А помнишь ту девочку с тортом?»

— А вы откуда такая, деточка? — спросила Северова, всё ещё держа мой фартук на коленях, как пригревшуюся кошку. — Кто вас научил так гасить пожары?

— Жизнь, — сказала я. — И младшая сестра. С ней либо научишься смеяться над катастрофами, либо в них утонешь. Я выбрала смеяться. У меня и лицо для этого подходящее, круглое.

Старый Северов оглядел меня так, как разглядывают хороший коньяк перед тем, как одобрить, и наконец крикнул довольно. Я не знала тогда, что для Громова в этом зале не было гостей важнее этих двоих и что я только что, сама того не подозревая, отработала ему то, чего за деньги не купишь.

И только тогда я почувствовала на себе взгляд — отдельный от всех. Максим Громов стоял в трёх шагах и смотрел на меня так, как смотрят не на человека, а на цифру в отчёте, которая внезапно не сошлась. Внимательно. Холодно. И с чем-то ещё, чему я тогда не нашла названия.

— Вы знаете, кто это? — тихо спросил он, кивнув на пару у окна.

— Гости, которым было неловко, — сказала я. — Теперь не неловко.

— Это Северовы. «Северная гавань». Без их денег половины этой башни бы не было. — Он смотрел на меня. — Вы только что сделали то, что мой отдел по связям не может сделать за три встречи.

— Я просто дала тёте свой фартук, — сказала я. — У меня большой опыт в неловких ситуациях, мистер...

— Громов, — сказал он. И от того, как он это сказал — будто фамилия всё объясняла, — я наконец сложила два и два. Громов. «Громов Групп». Стекло, башня, юбилей, четыреста человек. И я, в подтаявшем креме, объясняю ему про солёную карамель.

— Ой, — сказала я с большим достоинством. — Тогда с вас деньги за торт. По договору — после мероприятия. Я подожду внизу, у меня там фургон, в нём дверь надо бить коленом, это долго.

Что-то дрогнуло в углу его рта. Не улыбка. Так, репетиция улыбки, которую отменили на полпути.

— Оставайтесь, — сказал он. — Разрежете торт. Северовы захотят, чтобы это сделала «та девочка».

Я осталась. Резала собор под прицелом четырёхсот телефонов, рассказывала про орех и пожарных, и пожилая Северова держала меня за локоть и называла «деточкой», а её муж требовал, чтобы я непременно сделала им что-нибудь на годовщину. И всё было бы почти прекрасно, если бы я не поймала ещё два взгляда.

Первый — женский. Высокая брюнетка в платье цвета бордо стояла у колонны и смотрела на меня с той вежливой безразличностью, с какой смотрят на муку под чужими ногтями. Рядом с ней — мужчина, гладкий, улыбочивый, в светлом костюме, совершенно неуместном среди этого графита. Он поднял в мою сторону бокал, будто мы знакомы. Мне стало холодно, как от витрины.

Брюнетка наклонилась к гладкому и что-то сказала, не сводя с меня глаз, и оба засмеялись — тихо, для своих. Потом она перевела взгляд на Громова, и в нём было столько общего прошлого, что мне стало неловко, будто я подсмотрела в чужое окно. Так не смотрят на чужого. Так смотрят на того, кого когда-то держали в руках и выронили — нарочно.

Второй взгляд — Громова. Он смотрел не на меня. Он смотрел на этих двоих у колонны. И лицо у него стало такое, что я порадовалась, что я — всего лишь девочка с тортом, а не тот, на кого так смотрят.

Деньги мне отдали в конце, в конверте, у лифтов. Ровно столько, сколько по договору. Я сжала конверт, как спасательный круг, и поехала вниз, и в животе всё ещё дрожало от чужого богатого мира, в который меня случайно занесло с грузом сахара.

Фургон я нашла там, где бросила. Ударил коленом по двери — без толку. Ударил ещё раз, уже не так ласково.

— Бьёте имущество, — сказал голос за спиной. — Это покрывается страховкой?

Я обернулась. Тот самый, гладкий, из светлого костюма. Вблизи он был ещё глаже — будто его отлили из чего-то, что не мнётся.

— Виктор Залесский, — представился он и протянул руку. Я не подала свою — у меня обе были в креме, и это был отличный повод. — А я вас знаю, Софья Андреевна. Точнее, знаю ваш долг. Цифры запоминаются лучше лиц.

Вот теперь стало по-настоящему холодно. Не от витрины. От того, что кто-то из этого мира знал моё имя и мою цифру и произносил их вслух между делом, у грузового лифта, как погоду.

— Это вы, — сказала я. Не вопрос. Я уже научилась обходиться без вопросительных знаков, насмотрелась сегодня. Кредит я брала не у банка с вывеской. Я брала у конторы, за которой, как мне намекали, кто-то стоит. И вот этот кто-то стоял передо мной и улыбался.

— Не пугайтесь, — сказал Залесский мягко. — Я не за деньгами. Деньги — это потом и само собой. Я к вам с предложением, которое сделает вашу жизнь... проще. Вы умная женщина, я видел там, наверху. Мне нужны умные женщины рядом с определёнными людьми. Например, рядом с Максимом Грозовым. Совсем рядом. И тогда — никаких процентов. Никакого Мюнхена в долг.

Он знал и про Мюнхен. Про Нику. У меня всё внутри стянуло в один холодный узел.

— Я кондитер, — сказала я ровно. — Я делаю торты, а не то, что вы предлагаете. Какое бы это ни было.

— Подумайте, — он положил визитку на капот моего фургона, прижал монеткой, чтоб не сдуло. — Все думают. Все соглашаются. Вопрос времени и суммы.

— А если не соглашаются? — спросила я.

— Тогда сумма растёт, — улыбнулся он. — Время работает на меня, Софья Андреевна. И проценты тоже.

Он ушёл. Я стояла, смотрела на визитку и на монетку и думала, что вот так, наверное, и начинается падение — кто-то прижимает твою совесть монеткой, чтоб не сдуло.

Телефон зазвонил снова. Не банк. Клиника. Я взяла — руки в креме, неважно.

— Софья, добрый день, — сказал знакомый вежливый голос координатора. — По поводу Вероники. К сожалению, у нас сдвиг по очереди и по курсу. Чтобы сохранить за вами место в графике на осень, нужно внести вторую часть до конца месяца. Иначе мы вынуждены будем предложить ваш слот следующему. Я понимаю, это непросто.

Непросто. Я смотрела на конверт с деньгами за торт. Этих денег хватало на проценты. Не на Мюнхен. На Мюнхен не хватало ничего из того, что я могла заработать сахаром за год. До конца месяца оставалось одиннадцать дней.

— Я внесу, — сказала я. — Конечно внесу. Держите слот. Спасибо.

Я положила трубку и постояла, держась за тёплый ещё капот фургона. Где-то наверху, в стеклянной башне, четыреста человек ели мой торт и не знали, что для женщины, которая его испекла, ноги её сестры стоят дороже всего этого стекла. И что у этой женщины ровно одиннадцать дней и ни одной законной идеи.

Идею мне принесли в тот же вечер. Незаконную я уже отвергла на парковке. А вот эту — я не знала ещё, к какой категории отнести.

Я закрывала студию, когда у дверей остановилась машина, которой здесь нечего было делать, — длинная, тёмная, бесшумная, как тот зал наверху. Из неё вышел Максим Громов. В моём дворе, среди мусорных баков и кота Бориса, он смотрелся как айсберг в луже.

— Вы потеряли клиента? — спросила я. — Торт был наверху.

— Я нашёл кое-что другое, — сказал он. И вошёл, не дожидаясь приглашения, в мою пахнущую ванилью и долгами берлогу. Оглядел полки, противни, фотографию мамы над кассой, рисунок Ники на стене — «торт до неба». — Софья Андреевна, я навёл о вас справки. Это заняло сорок минут. Я знаю про вашу сестру, про клинику, про сумму и про то, кому вы должны. И знаю, что у вас одиннадцать дней.

— Вы навели справки за сорок минут, — повторила я. Голос у меня сел. — А я-то думала, у меня личная катастрофа. Оказывается, это публичный отчёт.

— Я предлагаю сделку, — сказал он, не услышав иронии. Или услышав и решив, что она нерентабельна. — Мне нужна жена. На год. Официальная, убедительная, без чувств. Совет директоров и инвесторы должны видеть, что во главе холдинга — не машина, а человек с семьёй. Вы сегодня за десять минут сделали то, на что у моей компании уходят месяцы. Северовы вас запомнили. Это редкость. Это ценно.

Я держалась за край стола. Ваниль, долги, айсберг и слово «жена», сказанное тем же тоном, каким заказывают торт.

— Вы предлагаете мне выйти за вас замуж, — сказала я очень медленно, чтобы услышать это самой. — По контракту.

— Да. Год. Все расходы. Закрытый долг. Оплаченная клиника — полностью, не в рассрочку, не «слот на осень», а операция и реабилитация, лучшая, какая есть. Взамен — год вашей убедительной игры. После — развод, выходное содержание, и вы свободны. Никаких других обязательств. Пункт двенадцатый я допишу отдельно: никаких чувств.

В студии стало так тихо, что я слышала, как капает кран и как в груди у меня стучит то, что я весь день старательно называла математикой.

Я думала о Нике. О её зелёном свете, который у неё отняли. О Мюнхене, до которого мне было как до луны, и о человеке, который стоял в моём ванильном дворце и протягивал мне луну, завернутую в договор без чувств.

— Почему я? — спросила я, оттягивая то, другое слово. — В этом городе очередь из женщин, которые сыграют вам жену и без всякой клиники. Красивее, удобнее, без сестры в кресле и без долга нехорошим людям.

— Поэтому и вы, — сказал он. — Тем, другим, всегда нужно что-то после. Вам нужно до и конкретно. С вами я знаю цену. С вами всё честно: я плачу — вы играете. Никаких иллюзий, никаких сюрпризов. Это и есть идеальная сделка — когда обе стороны точно знают, чего хотят.

— Вы говорите о браке так, будто это поставка цемента, — сказала я.

— Брак и есть поставка, — ответил он спокойно. — Просто обычно люди забывают подписать спецификацию, а потом удивляются недостатке. Я не удивляюсь. Я подписываю.

И я возненавидела себя за то, что спросила. Но я спросила.

— Сколько? — сказала я.

Глава 2. Двенадцать пунктов

Контракт на собственную жизнь оказался на восьми страницах, и пах он не ванилью, а свежей типографской краской и большими деньгами.

Я не спала почти всю ночь. Сидела на кухне студии, грела ладони о кружку с давно остывшим какао и считала. Не деньги — их-то я считать умела, у меня в голове калькулятор работал быстрее, чем касса. Я считала другое: сколько во мне осталось гордости и по какому курсу я её сейчас сдаю. Выходило, что курс грабительский, но выбора рынок мне не предлагал.

К утру я выбрала. Точнее, его за меня выбрала Ника — тем, как она спала, сбив одеяло, закинув здоровую ногу на ту, которую обещали починить в Мюнхене. Я постояла в дверях её комнаты, посмотрела на эту ногу и поняла, что подпишу что угодно. Хотя на восьми страницах, хоть на восьмидесяти.

Тёте Вале я сказала полуправду: нашёлся выгодный долгий заказ, с проживанием, у одного очень закрытого клиента, поэтому мы с Никой на время переедем в хорошие условия. Тётя Валя, святая женщина, прижала руки к груди и спросила только, кормят ли там. Я сказала, что кормят. В этом я была уверена больше всего.

Ника, конечно, почувяла, что что-то не так. Она всегда чувяла — болезнь обострила в ней слух на враньё, как у слепых обостряется слух на шаги.

— Ты выходишь за того дядю с тортом? — спросила она за завтраком, болтая ложкой в каше.

Я чуть не подавилась чаем.

— С чего ты взяла?

— Тётя Валя сказала «закрытый клиент» голосом, каким говорят про женихов. И ты всю ночь не спала, гремела какао. Ты гремишь какао, когда решаешь большое. — Ника посмотрела на меня прозрачными мамиными глазами. — Он хороший?

— Он... надёжный, — сказала я, выбрав самое безопасное слово.

— Это не то же самое, что хороший, — заметила моя двенадцатилетняя сестра, и я опять поразилась, в кого она такая умная. Точно не в меня: я в её годы верила, что марципан полезнее моркови.

Юридический этаж «Громов-Тауэр» был ещё холоднее банкетного. Если наверху хоть гости создавали тепло своими телами и шампанским, то здесь, среди стеклянных переговороных, тепло, кажется, вычитали из воздуха при проектировании. Меня встретил мужчина лет сорока с лицом усталого, но доброго пса — из тех, что всю жизнь верно охраняют чужой двор.

— Дмитрий Северов, — представился он. — Можно Дмитрий. Я юрист холдинга и... скажем так, семейный громоотвод. Максим Аркадьевич сейчас подойдёт. Кофе? Воды? Валидола?

— А валидол тут к чему? — насторожилась я.

— К контракту, — вздохнул он и положил передо мной те самые восемь страниц. — Читайте внимательно. Я редко советую людям читать внимательно — обычно это вредит сделке. Вам — советую. Вы мне симпатичны, а я плохо сплю, когда симпатичные люди подписывают не глядя.

Я начала читать. И поняла, почему он плохо спит.

Пункт первый: стороны заключают брак сроком на двенадцать месяцев с возможностью пролонгации по обоюдному согласию. «Пролонгация», — подумала я. Как абонемент в спортзал.

Пункт второй: супруга обязуется поддерживать публичный образ счастливого брака — совместные выходы, мероприятия холдинга, общение с прессой по согласованным темам. Иными словами, улыбаться по графику. Это я умела.

Пункт третий: размер вознаграждения. Я прочитала цифру и почувствовала, как у меня холодеют пальцы. Этой цифры хватало на Мюнхен, на долг, на закрытие студии без позора и ещё немного — на то, чтобы Ника никогда больше не слышала слово «слот».

Я смотрела на эту цифру и почти ненавидела её — за то, как легко она решала всё, над чем я билась два года. Два года я считала каждую упаковку ванилина, экономила на себе, откладывала на Никину ногу по копейке, — а тут одна строчка в чужом договоре стирала весь мой подвиг, как мокрая тряпка стирает мел с доски. Унизительно, когда твою войну выигрывают чужой подписью за полминуты.

Пункт четвёртый: все расходы на лечение Вероники Лавровой — обследование, операция, реабилитация — оплачиваются стороной заказчика отдельно и в полном объёме, вне зависимости от вознаграждения по пункту три.

Я перечитала четвёртый дважды. Подняла глаза на Дмитрия.

— Это значит, что лечение Ники — отдельно от моей... зарплаты?

— Это значит, — раздался голос от двери, — что ваша сестра не залог. Залогом будете вы.

Максим Громов вошёл так, как, наверное, входил всюду, — будто помещение только и ждало, когда он наконец появится и придаст ему смысл. Тёмный костюм, ни одной лишней складки, лицо отдохнувшее. Он-то спал прекрасно. Люди, у которых всё имеет цену, всегда хорошо спят: им не из чего собирать совесть по ночам, она у них в сейфе.

— Доброе утро, — сказала я. — Вы всегда заходите в комнату с готовой фразой, или сегодня в честь меня?

— Я готовлюсь к встречам, — сказал он, садясь напротив. — Это экономит время. У вас, кстати, мука на воротнике. Опять.

Я не стала её стряхивать. Пусть будет. Это была моя мука, единственная честная вещь в этой стеклянной комнате.

— Можно вопрос? — сказала я. — Раз уж мы почти муж и жена. Зачем вам всё это? У вас башня, миллиарды, совет директоров. Неужели нельзя просто сказать им: я взрослый мужчина, отстаньте от моей личной жизни?

— Нельзя, — сказал Максим. — Через два месяца совет утверждает меня председателем вместо отца. Часть совета считает, что мужчина, который в тридцать пять женат только на работе, ненадёжен: сегодня холдинг, завтра новая блажь. Им нужна картинка — семья, корни, преемственность. А ещё есть человек, который очень хочет, чтобы меня не утвердили. И бить он будет именно сюда. В то, что я один.

— Залесский, — сказала я. Имя само выпало изо рта.

Максим посмотрел на меня внимательно.

— Вы знакомы?

— Шапочно, — сказала я. — Он вчера подержал мою совесть монеткой на парковке. Обаятельный. Как глазурь на просроченном торте.

Что-то мелькнуло в его лице — не удивление. Расчёт. Он отложил это куда-то, где у него хранилось всё важное.

— Тем более, — сказал он. — Значит, вы понимаете, с кем мы играем.

— Я понимаю, с кем я пеку, — поправила я. — Играть я не умею, честно предупреждаю. Делать вид, что всё хорошо, — умею, это любая женщина с долгами умеет. Но играть страсть к человеку, который считает чувства плохо просчитанными версиями эффективности, — это будет мой самый сложный заказ.

— Справитесь, — сказал он. — Вы сегодня сыграли любовь к моему торту так, что Северовы прослезались. А это был обычный торт.

— Это был не обычный торт! — возмутилась я, и Дмитрий снова закашлялся, и в кои-то веки в стеклянной комнате стало почти тепло — от моего возмущения, единственного источника тепла в радиусе сорока этажей.

— Читайте дальше, — сказал он. — Самое интересное в конце.

Я читала. Пункт пятый — режим конфиденциальности: ни одна живая душа не должна знать, что брак фиктивен; за разглашение — штраф, от которого у меня снова похолодело всё, что ещё не успело. Пункт шестой — внешний вид и гардероб супруги обеспечивается стороной заказчика. «Меня оденут, как ёлку», — подумала я. Пункт восьмой — по истечении срока стороны разводятся без взаимных претензий, супруге выплачивается выходное содержание. Пункт девятый, десятый, одиннадцатый — про имущество, про молчание после развода, про то, что я не имею прав на холдинг, будто я мечтала ночами о его стекле.

Я зацепилась за «выходное содержание». Красивые слова для «отступных». Меня разведут аккуратно, культурно, с конвертом — как увольняют хорошего сотрудника, к которому нет претензий, но место сокращают. На секунду стало так горько, что я чуть не встала и не ушла. Потом вспомнила Никину ногу на смятом одеяле и осталась сидеть. У горечи нет слота в моём графике. Горечь — для тех, кто может её себе позволить.

— Тут целый пункт о том, что я не претендую на ваши акции, — сказала я. — Можете спать спокойно. Я и не знаю толком, что такое акции. Зато знаю, что такое маржа на капкейках, а это, поверьте, наука посложнее.

— Люди меняются, когда видят большие деньги вблизи, — сказал он, не отрываясь от телефона. — Я предпочитаю прописать всё заранее.

— Вас, наверное, очень любили в детстве, — сказала я ласково. Он поднял глаза. — Раз вы так не верите, что человек может хотеть чего-то бесплатно.

Он не ответил. Просто смотрел на меня лишнюю секунду, а потом снова уткнулся в телефон. Я вернулась к бумагам.

И пункт двенадцатый. Он был набран тем же сухим шрифтом, что и остальные, но я почему-то прочитала его медленно, по слову.

«Стороны признают, что отношения носят исключительно деловой характер. Возникновение, демонстрация или предъявление личных чувств не является предметом и условием настоящего договора и не порождает обязательств».

— «Не порождает обязательств», — прочитала я вслух. — Красиво. Вы это сами придумали или юрист?

— Я, — сказал Максим. — Дмитрий пытался смягчить. Я настоял.

— Бойтесь, что я в вас влюблюсь и потребую алименты сердцем? — Я улыбнулась самой сахарной из своих улыбок. — Не льстите себе, Максим Аркадьевич. Я влюбляюсь в тех, кто умеет смеяться. У вас, по-моему, эта функция отключена в целях экономии.

Дмитрий за столом издал звук, который при желании можно было принять за кашель. Максим даже не моргнул.

— Прекрасно, — сказал он. — Значит, пункт двенадцать нас обоих устраивает. Подписывайте.

И вот тут во мне проснулась не гордость — гордость я уже сдала по грабительскому курсу. Проснулось упрямство. То самое, родовое, лавровское, из-за которого я полгорода обошла с коробками, прежде чем взять кредит у плохих людей.

— Не всё, — сказала я и положила ладонь на бумаги. — Я внесу свои пункты. Три штуки. Иначе не подписываю, и ищите себе другую жену, которая обаяет ваших Северовых. У вас, я слышала, очередь.

Максим откинулся на спинку кресла. Что-то в его лице сдвинулось — он, кажется, не привык, что люди, которым он протягивает луну, ещё и торгуются.

— Слушаю, — сказал он.

— Первое. Лечение Ники начинается до свадьбы, а не после. Сегодня я звоню в клинику и говорю, что слот наш. Если вы передумаете завтра — операция уже идёт, её не отменишь, и это мой страховой полис против вашего настроения.

Дмитрий перестал даже изображать кашель. Смотрел на меня с тихим уважением.

— Принято, — сказал Максим, помолчав. — Второе?

— Второе. Моя студия. Я не закрываю «Сахарную пудру» и не бросаю своё дело. Я могу играть вам жену вечерами и по выходным, но днём я пеку. Я кондитер, а не мебель из вашего гардеробного пункта шесть.

— У моей жены не будет необходимости работать, — сказал он.

— У вашей жены будет необходимость оставаться собой, — отрезала я. — Иначе через месяц вы получите не убедительную счастливую супругу, а тоскливую тень, которую Северовы раскусят за минуту. Счастье, Максим Аркадьевич, нельзя сыграть на пустой кухне. Я проверяла.

Он молчал. Долго. И за этим молчанием я впервые увидела, что он действительно думает, а не просто перебирает заготовки.

— Принято, — сказал он наконец. — При условии, что график выходов имеет приоритет. Третье?

Я набрала воздуха. Третий пункт был не про деньги и не про студию. Он был про то единственное, что я не готова была сдать ни по какому курсу.

— Третье. В этом контракте есть пункт двенадцать — «никаких чувств». Я хочу зеркальный. Мой пункт тринадцать: никакого притворства наедине. На людях я ваша счастливая жена, какая угодно. Но когда мы вдвоём, без зрителей, мы не играем. Я не буду улыбаться вам по графику в пустой квартире и говорить, как я вас люблю, когда нас никто не слышит. Дома — только правда. Даже если правда в том, что мы друг друга терпеть не можем.

Тишина в стеклянной комнате стала плотной. Дмитрий смотрел то на меня, то на Максима, как зритель на матче. А Максим смотрел только на меня, и в его лице опять появилось то выражение — будто цифра не сошлась.

— Зачем вам это? — спросил он тихо.

— Затем, — сказала я, — что год притворяться даже на людях — тяжело. А притворяться ещё и наедине, в собственном доме, — невыносимо. Мне нужно место, где я не вру. Хоть одно. Пусть это будет ваша холодная квартира. Я согласна врать всему миру за ваши деньги. Но не себе и не вам, когда дверь закрыта.

Он долго молчал. Потом протянул руку к контракту, взял ручку Дмитрия — тяжёлую, чёрную, дорогую — и сам, своим почерком, ровным и острым, вписал внизу страницы тринадцатый пункт. Я следила за его рукой и думала, что вот сейчас в этой сделке появилось что-то, чего не было в плане. Маленькая трещина в стекле. Мой пункт.

— Знаете, — сказала я, пока он закручивал колпачок ручки, — большинство людей на вашем месте просто отказали бы. Тринадцатый пункт вам невыгоден. Вам было бы проще, если б я притворялась всегда — и на людях, и дома. Удобная жена в режиме нон-стоп.

— Удобная жена в режиме нон-стоп через месяц сломалась бы, — сказал он. — Вы сами это сказали. Я умею считать. Усталый актёр играет хуже. Я даю вам гримёрку, чтобы вы лучше играли на сцене.

— Вы только что объяснили потребность в честности через эффективность найма, — сказала я. — Это почти талант.

— Это и есть эффективность, — ответил он без тени улыбки. — Всё остальное — её плохо просчитанные версии.

— Подписано, — сказал он, придвигая бумаги. — Ваша очередь. С двух сторон. И инициалы на каждой странице.

Я подписывала, и ручка была такая тяжёлая, будто ею ставили подписи под судьбами, а не под десертами. Софья Лаврова, Софья Лаврова, восемь раз, на восьми страницах, с инициалами в углах. На последней странице, рядом с его ровной подписью, моя выглядела как след птицы на снегу — лёгкая, кривоватая, живая. Мне это даже понравилось.

— Поздравляю, — без выражения сказал Дмитрий, собирая листы. — Брак будет зарегистрирован через десять дней, по упрощённой процедуре, у нас договорённость с... неважно. Свадьба — камерная, но с правильными свидетелями. Платье подберут. Кольца уже есть.

— Уже есть? — переспросила я. — Какая предусмотрительность. А вдруг бы я не подошла по размеру пальца?

— Вы подошли по размеру задачи, — сказал Максим, вставая. — Палец подгонят.

— Подгонят, — повторила я. — Знаете, у вас всё подгоняют. Палец, образ, жену. Не боитесь, что однажды что-то не подгонится?

— Не боюсь, — сказал он. — Я меняю поставщика.

Он уже шёл к двери, застёгивая пиджак, когда я, складывая свой экземпляр в сумку, наткнулась взглядом на седьмой пункт. Тот, который я в спешке проскочила, перепрыгнув от шестого сразу к восьмому, потому что пункт шесть про гардероб меня развеселил, а пункт восемь про развод напугал.

Пункт седьмой гласил: «На срок действия договора супруги проживают совместно по адресу заказчика для поддержания достоверности образа. Раздельное проживание не допускается».

— Стоп, — сказала я. Громко. Так громко, что Максим у двери обернулся. — Пункт семь. «Проживают совместно». Это что значит — я переезжаю к вам?

— Это значит ровно то, что написано, — сказал он. — Достоверность. Жёны живут с мужьями. Даже фиктивные. Особенно фиктивные — за ними наблюдают пристальнее.

— А Ника?

— Разумеется, с вами. В доме семь спален. — Он чуть помолчал. — Вашей сестре понравится лифт.

И вот это «вашей сестре понравится лифт», сказанное так буднично, человеком, который, оказывается, уже подумал про лифт для девочки в кресле, ударило меня сильнее всех двенадцати пунктов вместе взятых. Я стояла с контрактом в руках, с мукой на воротнике, в его стеклянном холодном мире, и не знала, что страшнее: что я только что продала год своей жизни — или что человек, купивший этот год, между делом подумал про лифт.

— Когда переезжать? — спросила я севшим голосом.

Максим посмотрел на часы — тяжёлые, старые, совсем не в тон его костюму, единственная несовременная вещь на нём, и я ещё успею узнать, что это значит. Потом перевёл взгляд на меня.

— Завтра, — сказал он. — За вами пришлют машину к девяти. Возьмите только личное. Всё остальное у вас теперь есть.

Дверь за ним закрылась бесшумно, как всё в этой башне. Я повернулась к Дмитрию, который смотрел на меня всё тем же взглядом усталого доброго пса.

— Во что я ввязалась? — спросила я честно, потому что у нас с ним, кажется, уже завязалась та странная дружба, что бывает между свидетелем и подсудимым.

— В семью Громовых, — сказал он и впервые за всё утро улыбнулся, и улыбка вышла невесёлая. — Держитесь, Софья. Вы первый человек за много лет, который вписал в его контракт свой пункт. Он этого ещё не понял. А я уже не сплю.

Я вышла из стеклянной башни на серую улицу, прижимая сумку с контрактом к себе, как раньше прижимала торт. И поймала дикую мысль: из всех восьми страниц, из всех его сухих

пунктов меня напугал не штраф за разглашение и не год без права на ошибку. Меня напугал лифт. Человек, который не верит в бесплатные чувства, подумал про лифт для чужой больной девочки раньше, чем подумала об этом я. И если уж это пробивало его броню, то моя задача становилась опаснее, чем просто улыбаться по графику. Разморозить такого — значит рано или поздно обжечься самой. А я всю жизнь работаю с огнём и точно знаю, чем это кончается.

Глава 3. Под одной крышей

Я читаю дома, как читаю рецепты: с порога ясно, чего в них переложили, а чего не доложили совсем. Квартире Максима Громова не доложили сахара. И соли. И вообще всего, кроме денег.

Машина привезла нас с Никой к небоскрёбу из чёрного стекла на набережной — не к той башне, где офис, к другой, жилой, но из того же холодного теста. Лифт поднял нас на последний этаж так мягко и быстро, что Ника завизжала от восторга, и этот визг был первым тёплым звуком, который услышали эти стены, кажется, за всю их историю.

— Соня, тут можно кататься! — Ника крутанула колёса своего кресла по гладкому камню пола. Пол был такой, что по нему хотелось ездить, а не ходить. — Тут как в кино, где у героя нет мебели, потому что он богатый и грустный!

— Он не грустный, — сказала я. — Он экономный на чувствах. Это разные вещи.

Хотя, оглядываясь, я уже не была уверена. Пентхаус был прекрасен и мёртв. Стекло от пола до потолка, за ним — вся Москва, разложенная, как на витрине. Серый камень, серый бетон, дорогая мебель цвета пасмурного утра. Ни одной фотографии. Ни одной лишней вещи. Ни одной книги, забытой раскрытой на диване, ни чашки, ни пледа, ни запаха. Дом, в котором никто не пролил, не уронил, не заплакал и не рассмеялся. Образцовый. Как из журнала. И такой же плоский.

— Софья Андреевна? — Из глубины этого совершенства вышла невысокая женщина лет шестидесяти, в фартуке — настоящем, рабочем, и при виде этого фартука мне сразу стало легче дышать. — Тамара Ивановна, экономка. А это, значит, Вероника. Ну здравствуй, золотая. Я тебе уже комнату приготовила на этом этаже, чтоб без лестниц, и ванную переделали, чтоб тебе удобно. Максим Аркадьевич распорядился ещё на той неделе.

— На той неделе, — повторила я.

На той неделе он ещё не знал, соглашусь ли я. Контракт мы подписали только вчера. А ванную для Ники переделали неделю назад. Значит, он был уверен. Или — и эта мысль была неудобной, как камешек в туфле, — значит, он на всякий случай готовил удобство для девочки, которую мог никогда и не увидеть. Я отложила этот камешек туда же, куда он вчера отложил имя Залесского, — в место для важного.

Я прошла по пентхаусу, пока Тамара Ивановна возилась с Никой. Открыла наугад несколько дверей. Кабинет наверху — стол, два экрана, кресло, ничего личного. Спальня — кровать, застеленная с гостиничной безупречностью, на тумбочке ни книги, ни стакана, ни таблетки, ничего. Гардеробная — ряды одинаковых тёмных костюмов, как солдаты на параде. И только в одном месте, на каминной полке в гостиной (камин, разумеется, был электрический и, разумеется, ни разу не включался), стояла единственная вещь, выбивавшаяся из этого музея успеха: старая чёрно-белая фотография в простой рамке. Женщина с печальными светлыми глазами и мальчик лет семи, прижавшийся к её плечу. Мальчик улыбался — по-настоящему, во весь рот, как улыбаются только до того, как узнают, что улыбаться невыгодно.

Я долго смотрела на эту фотографию. Потом услышала шаги Тамары Ивановны и отошла. Но мальчик с фотографии остался со мной — он никак не вязался с человеком, который накануне вписывал в мою жизнь пункт двенадцать.

Тамара Ивановна увела Нику осваивать комнату, и я слышала, как сестра ахает над какой мелочью, а экономка приговаривает «а вот тут кнопочка, а вот тут поручень», и впервые за двое суток у меня немного отпустило под рёбрами. Тут было кому позаботиться. Холодный дом, но не злой.

Вечером, пока Ника засыпала в новой комнате, обняв старого плюшевого зайца, которого мы не отдали бы и за все стеклянные башни мира, Тамара Ивановна напоила меня чаем и рассказала больше, чем, наверное, собиралась.

— Вы не думайте, что он всегда такой ледяной, — сказала она, подвигая мне вазочку с сушками. — Он мальчишкой был другой. Я ж его с двенадцати лет знаю, ещё при покойной Елене Сергеевне, матушке его. Вот она была — свет. Только несчастливый свет. Аркадий Петрович её взял по расчёту, два капитала свёл, а сердце спросить забыл. Она в этом доме угасала тихо, как свечка под стеклом. Максим всё видел. Мальчик всё видит. И решил, видать, что любовь — это когда тебя берут по расчёту, а ты гаснешь. Вот и бережётся.

— А отец? — спросила я.

— Аркадий Петрович любит по-своему, грубо. Сыновей в кулаке держит. — Тамара Ивановна понизила голос. — Часы видали у Максима на руке? Старые, некрасивые. Дедовы. Громовы их главному наследнику передают. Аркадий Петрович Максиму отдал, а после будто пожалел, что рано. Теперь всё проверяет. И женитьба эта... — Она осеклась, глянула на меня хитро. — Хотя это уж не моё дело, кто на ком и зачем. Вы, главное, девочку свою любите. На вас глядеть — в доме теплее.

Максим пришёл в восемь. Я уже знала, что он придёт ровно в восемь, потому что Тамара Ивановна накрывала ужин к восьми с точностью лаборатории. Он вошёл, снял пиджак, и взгляд его прошёл по гостиной и споткнулся.

Споткнулся он о мою выпечку. Пока Ника обживалась, я не выдержала — нашла кухню (огромную, стерильную, с техникой, которой, судя по упаковочной плёнке кое-где, ни разу не пользовались) и испекла коричное печенье. Просто чтобы дом начал пахнуть домом. Чтобы Ника, проснувшись завтра в чужом месте, почувствовала знакомое. Печенье лежало на блюде на этом его бетонном острове, как маленькая тёплая революция.

— Что это, — сказал Максим. Опять без знака вопроса.

— Печенье, — сказала я. — Коричное. Его едят. Иногда даже люди, которые экономят на чувствах, — для них есть специальное, постное, вон с краю.

— Мы договаривались, что вы готовите в своей студии. — Голос ровный, но я уже училась слышать в этой ровности оттенки, как в шуме духовки слышишь, готов корж или ещё нет.

— Мы договаривались, что я остаюсь собой, — напомнила я. — А я — это человек, который, попав в незнакомое место, первым делом печёт. Так я обживаюсь. Так Ника понимает, что мы дома, даже если дом не наш. Хотите, не ешьте. Но запах я тут разведу, Максим Аркадьевич. Считайте это пунктом четырнадцать.

Он молчал. Потом — я готова была поклясться — взял одно печенье. С краю. Не постное, обычное. Откусил, прожевал с лицом человека, проводящего дегустацию яда. И ничего не сказал. Но второе не взял, а первое доел до конца. Для него, я уже понимала, это было почти признание в любви к корице.

— Зачем вы на самом деле печёте? — спросил он вдруг, и я не сразу поняла, что это не претензия, а вопрос. Настоящий. — Только не про «обживаюсь». Это вы сказали для Тамары Ивановны.

Я посмотрела на него. Мы были вдвоём, без зрителей. Пункт тринадцать. Дома — только правда.

— Когда умерла мама, мне было девятнадцать, Нике — пять, — сказала я. — Денег не было, опыта не было, ничего не было, кроме её рецептов в тетрадке. И я начала печь. Сначала не ради денег — ради запаха. Пока в доме пахнет ванилью, кажется, что рядом есть кто-то взрослый, кто о тебе позаботится. Я пекла этот запах для Ники. И для себя. Так и выжили. И студия выросла из запаха, а не из бизнес-плана.

Он слушал. Молча, не перебивая, без своего обычного «это нерентабельно». А когда я закончила, сказал тихо, глядя не на меня, а в тёмное окно:

— У нас в доме пахло деньгами. Это другой запах. От него не теплее.

И ушёл вниз, не дав мне ответить. А я стояла и думала, что это, кажется, была первая настоящая вещь, которую он мне сказал. По пункту тринадцать.

— Правила, — сказал он, садясь за стол. — Раз вы любите свои пункты, вот мои. Кабинет на минус первом — мой, туда не входят. Завтрак в семь, я ем один, читаю сводки. Ваш и Никин график — у Тамары Ивановны. По вторникам и четвергам — мероприятия, форма одежды и темы согласуются заранее. И ещё. — Он посмотрел на меня. — В этом доме не шумят после одиннадцати.

— У меня сестра-подросток и я-кондитер, — сказала я. — Мы шумим круглосуточно. Но я попробую переводить шум в энергоэффективный режим после одиннадцати. Договорились?

Уголок его рта опять дрогнул — та самая отменённая на полпути улыбка.

— Завтра первый выход, — сказал он, вставая. — Благотворительный вечер фонда холдинга. Будут все, кого нужно убедить. И кое-кто, кого убеждать бесполезно. Тамара Ивановна покажет вам платье. И, Софья Андреевна... — он задержался у двери. — Спасибо за комнату для сестры. То есть — за то, что заметили. Большинство не замечает.

Ночью я не спала. Лежала в гостевой спальне размером с мою бывшую квартиру, смотрела в стеклянный потолок, за которым мигали огни чужого богатого неба, и думала о женщине, которая угасала здесь под стеклом. Не в этом доме — в прошлом, — но порода стен была та же. Холодные дома Громовых умели гасить.

Под утро ко мне забралась Ника — она всегда так делала на новом месте, подкатывала кресло, перебиралась под бок.

— Соня, — прошептала она. — А если он привыкнет к нам? И к печенье? И не захочет разводиться?

— Это не входит в его планы, — сказала я. — У него всё по пунктам, малыш. Нас взяли на год.

— А вдруг ты тоже не захочешь? — Ника смотрела на меня в темноте мамиными глазами, и я порадовалась, что темно и моего лица не видно.

— Я хочу только одного, — сказала я и поцеловала её в макушку. — Чтобы ты пошла. Своими ногами. Всё остальное — глазурь.

Я соврала. Я уже хотела не только этого. И это было опаснее любого кредита.

Он ушёл вниз, в свой запретный кабинет, а я осталась стоять с подносом печенья и думать, что вот этот человек только что поблагодарил меня за то, что я заметила то, что сделал он. Перепутал благодарность с её адресатом. И мне почему-то не захотелось его поправлять.

Платье оказалось цвета шампанского, тяжёлое от ручной вышивки, и стоило, наверное, как годовой оборот моей студии. Я стояла перед зеркалом и не узнавала себя: гладкая, дорогая, чужая. Кондитер Соня Лаврова с мукой на воротнике куда-то делась, а вместо неё появилась убедительная жена Громова — отретушированная, подогнанная, как палец под кольцо.

— Не делай такое лицо, — сказала мне Ника из дверей. Она держала на коленях моё старое печенье, тайком утащенное. — Ты красивая. Просто непривычная. Как торт, который сделали не для нас, а на заказ.

— Вот именно, — сказала я. — Не для нас. На заказ.

— А он будет смотреть на тебя?

— Он будет смотреть на инвесторов. Я — рабочий инструмент, солнышко. Дорогой венчик.

Но когда я вышла к лифту и Максим обернулся — в смокинге он был совершенно невыносим, и я мысленно обозвала себя дурой за то, что это заметила, — он посмотрел на меня не как на венчик. Секунду. Одну. Потом лицо его захлопнулось, как дверь сейфа, и он сказал ровно:

— Часы. — И протянул мне руку, чтобы я взяла его под локоть. — На людях мы не отходим друг от друга дальше чем на два шага. Улыбайтесь. И постарайтесь не рассказывать про пожарных.

— Про пожарных рассказывают только в особых случаях, — сказала я, беря его под руку. Рука была твёрдая и тёплая, и от этого тепла мне стало почему-то тревожно. — Сегодня, так и быть, обойдёмся без пожарных. Но если кто-то опять обольётся, я не обещаю.

Вечер фонда проходил в особняке, который притворялся дворцом так старательно, что это даже трогало. Свет, музыка, женщины в платьях дороже автомобилей, мужчины с лицами людей, считающих чужие платья. Максим вёл меня сквозь толпу, и я чувствовала, как он представляет меня — коротко, точно, без лишнего: «Моя жена, Софья». И каждый раз на слове «жена» во мне что-то спотыкалось, как его взгляд утром о печенье.

Я разглядывала этих людей и думала: вот мир, где всё — сделка. Браки, дружбы, улыбки, благотворительность. Все что-то друг другу продают, просто называют это иначе. И посреди этого стеклянного аукциона стоял человек, который хотя бы честно назвал свою сделку сделкой и подписал её на восьми страницах. Может, поэтому я и не возненавидела его до конца. В мире фальшивых улыбок честный контракт — почти признание в порядочности.

Я держалась. Я умела держаться — два года держания на плаву чему-то да научили. Я улыбалась, я говорила правильные вещи, я даже не уронила бокал. Старая Северова, та самая, из шампанского, нашла меня в толпе, ухватила за руку и громко, на весь зал, объявила какой-то даме: «А это та самая Сонечка, я вам рассказывала, она нам годовщину будет делать!» — и я поняла, что моё главное оружие сработало и здесь: меня запомнили как человека, а не как жену Громова. Максим стоял рядом и слушал, как его инвесторы воркуют над его фиктивной женой, и лицо у него было непроницаемое, но локоть под моей рукой — я чувствовала — расслабился.

— Вы хорошо держитесь, — сказал он мне на ухо, когда нас на минуту оставили одних у колонны. От его дыхания по шее прошёл холодок, который я отказалась признавать чем-либо, кроме сквозняка. — Лучше, чем я рассчитывал.

— Я всегда лучше, чем рассчитывают, — сказала я. — Низкие ожидания, высокая маржа. Бизнес-секрет.

Заиграли что-то медленное, и он, повинувшись чьему-то взгляду из толпы, повёл меня танцевать. Танцевал он безупречно, как делал всё, к чему прикасался. Я положила ладонь ему на плечо, он — мне на талию, и между нами осталось ровно столько воздуха, сколько предписывает достоверность: ни больше ни меньше.

— Расслабьтесь, — шепнул он. — Вы деревянная.

— Я не деревянная, я насторожённая. Это разные вещи. Деревянные не чувствуют, а я чувствую, что на нас смотрит женщина в красном и сейчас прожжёт во мне дыру.

Максим повернул голову — едва-едва. И под моей ладонью его плечо окаменело. У колонны стояла та самая брюнетка с юбилея, теперь в платье цвета спелой вишни, и смотрела на нас так, будто мы лично у неё что-то украли.

— Кто это? — спросила я.

— Никто, — сказал он. Слишком быстро для «никто».

Мы дотанцевали молча. Но что-то изменилось: теперь между нами было не предписанное расстояние, а общая тайна. Я уже знала, что «никто» в красном когда-то была кем-то очень важным, а он знал, что я это поняла.

— Ещё час, — сказал он, когда музыка стихла. — Потом можем уезжать. Вы отработали вечер.

— «Отработала», — повторила я. — Вы умеете сказать женщине приятное.

— Я сказал правду. Разве вы не за правду наедине? — В его голосе мелькнула тень насмешки, почти живой. — Или пункт тринадцать действует в одну сторону?

— Круглосуточно, — сказала я. — Просто учтите: правда наедине бывает неудобной. Например, в этом смокинге вы почти выносимы. Не привыкайте, я не повторю.

И — клянусь — он почти улыбнулся. По-настоящему, как тот мальчик с фотографии. Почти.

А потом музыка на секунду стихла, и сквозь неё, как сквозняк сквозь щель, протёк голос:

— Какая трогательная картина. Громов с семьёй. Я уж и не чаял дожить.

Виктор Залесский был в этот вечер в графите, наконец-то в тон стенам, будто специально оделся, чтобы быть здесь своим. Он подошёл к нам — гладкий, улыбочивый, с бокалом, — и я почувствовала, как Максим рядом превратился в лёд. Не в холод витрины. В настоящий, толстый, опасный лёд, по которому страшно ходить.

— Виктор, — сказал Максим. — Не знал, что фонд продаёт билеты всем подряд.

— Фонд продаёт билеты тем, кто жертвует, — улыбнулся Залесский. — А я очень, очень щедр. Спроси кого угодно. — Он повернулся ко мне, и улыбка его стала шире, теплее и оттого омерзительнее. — Софья Андреевна. Какая вы сегодня... подогнанная. Шампанское вам идёт больше муки.

Он взял мою руку — ту, что не держала Максима, — и склонился к ней, и я ничего не могла сделать, мы были на людях, я была убедительной женой, я улыбалась. Его губы коснулись моих пальцев, и он, не поднимая головы, тихо, только для меня, спросил:

— Как ваш кредит, кстати? Проценты не жмут? Если что — вы помните, моё предложение в силе. Оно всегда в силе. Я терпеливый.

Он выпрямился, отпустил мою руку и снова стал светским — само радушие.

— Прекрасная пара, — сказал он громко, для окружающих. — Просто открытка. Берегите её, Максим. В наше время так трудно найти кого-то... бескорыстного. — Слово «бескорыстного» он положил мне под ноги, как банановую кожуру, и отступил, любуясь.

— Мы умеем беречь своё, — сказал Максим. Голос ровный, но рука, которой он снова взял меня под локоть, сжалась так, что стало почти больно. — В отличие от тех, кто умеет только отбирать чужое.

Я улыбалась. Я держала лицо. Но внутри у меня всё обвалилось, потому что я поняла: он знает. Он знает про контракт — или почти знает, и пришёл сюда не жертвовать, а показать мне и Максиму, что держит в руке монетку, которой прижал мою совесть. И что эта монетка теперь лежит в самом центре сверкающего зала, между двумя мужчинами, один из которых купил мой год, а другой — мой долг.

Максим смотрел на склонённую к моей руке голову Залесского, и я, повернув голову, увидела его лицо вблизи. И впервые испугалась не за себя.

Глава 4. Соколиное

Усадьба «Соколиное» оказалась полной противоположностью стеклянной башне, и я полюбила её раньше, чем вышла из машины.

Это был большой старый дом из тёплого камня, с печными трубами, с разъезженной подъездной дорогой, с тремя собаками неопределённой породы, которые встретили нас так, будто мы вернулись из долгого плавания. Пахло хвоей, дымом и снегом. В окнах горел жёлтый свет — настоящий, не дизайнерский. Дом, в котором жили, ели, ссорились и мирились. Дом, в котором не экономили на чувствах.

— Соня, тут собаки! — Ника вытянула руку, и самый лохматый из псов немедленно сунул ей в ладонь холодный нос. — Три штуки! У нас никогда не было даже одной!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.